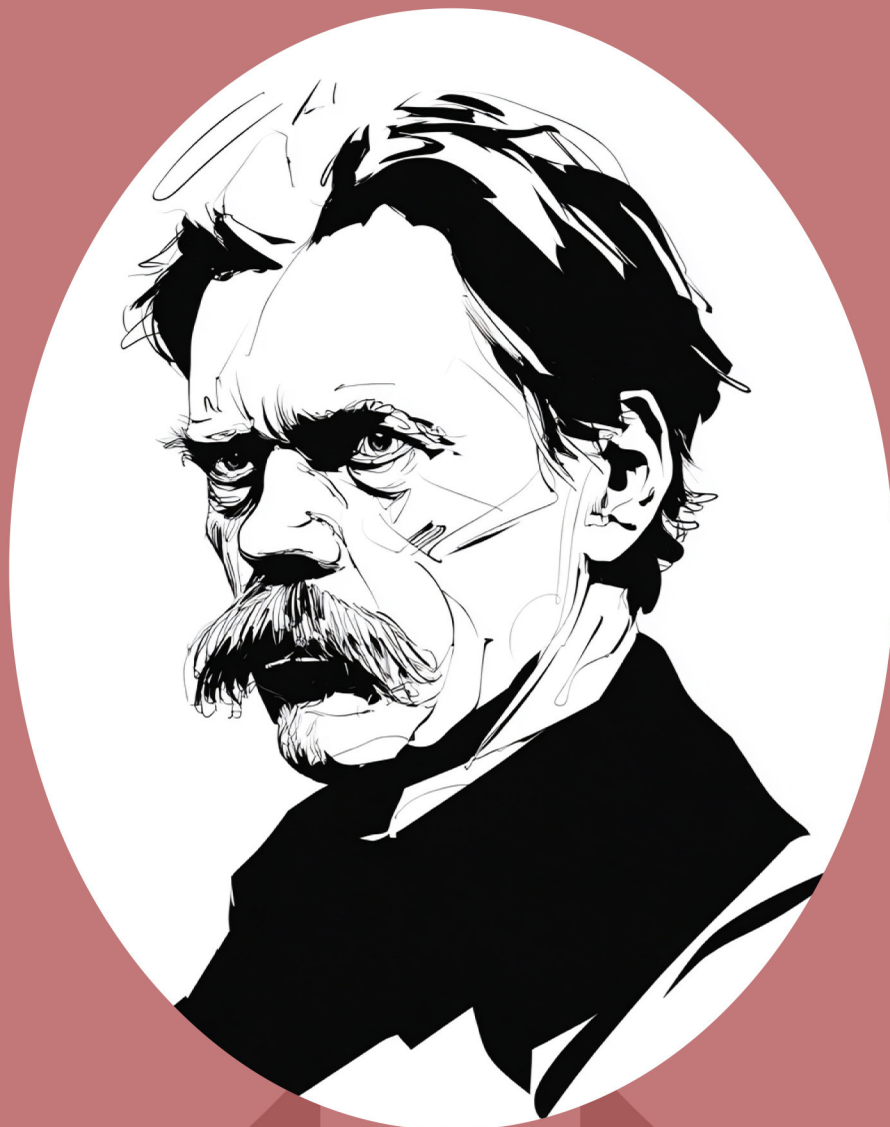


Литрес ≡ Классика

Максим Горький

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ,  
МАКАР ЧУДРА  
И ДРУГИЕ...



Максим Горький

**Старуха Изергиль,  
Макар Чудра и другие...**

«ЛитРес»

1892, 1895, 1901, 1902, 1903, 1916

## **Горький М.**

Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие... / М. Горький —  
«ЛитРес», 1892, 1895, 1901, 1902, 1903, 1916

Под шум морского прибоя и треск ночного костра оживают предания о людях, чья жажда свободы не знала границ. Вы узнаете о гордом Ларре, наказанном вечным одиночеством за свое высокомерие, о прекрасной цыганской любви, обернувшейся трагедией, и о самоотверженном Данко, который вырвал из груди сердце, чтобы осветить путь своему народу. Это истории о вечном выборе между эгоизмом и служением другим, между тихим существованием и яркой вспышкой истинной жизни.

© Горький М., 1892, 1895, 1901, 1902,  
1903, 1916

© ЛитРес, 1892, 1895, 1901, 1902,  
1903, 1916

## Содержание

В людях	5
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Максим Горький

## Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие...

### *Иллюстрированный сборник*

#### В людях

#### I

Я – в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города. Мой хозяин – маленький, круглый человечек; у него бурое, стёртое лицо, зелёные зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

– Не криви рожу, – тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, – может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

– Я сказал – не криви рожу, – ещё тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

– Не чеши рук, – ползет ко мне его сухой шопот. – Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук, – обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

– Ты чем занимался дома? – спрашивает хозяин, рассматривая руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

– Ветошничество – это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

– Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

– Что-о? Как это воровал?

Я объясняю – как и что.

– Ну, это сочтём за пустяки. А если ты у меня украдёшь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и ещё больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковлев, и старший приказчик – ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привёл меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, – Саша важно нахмурился, предупреждая:

– Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

– Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

– Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

– Каширин, не вытаращивай зенки, – советовал ему хозяин.

– Я – ничего-с, – отвечал Саша, наклоня голову, но хозяин не отставал:

– Не бычись, покупатели подумают, что ты козёл...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо своё сладостную улыбку; она, покрывая щёки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно он боится сломать ногу, а нога – толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поёживаясь:

– Ах, как вы щекочете...

– Это-с – из вежливости, – быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей, – уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы шепотью и поцеловал их.

– Ах, – вздохнула женщина, – какой вы шалунишка! А он надул щеки и тяжело произнес: – Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь открылась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжёлым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

– Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам – торговля идёт лучше.

– Даме и не нужно башмаков, а она придёт да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты – не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, – никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

– Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле, и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, – тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

– Каширин, прибери товар!

И ругался:

– Ишь нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой – я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха, – лицо её возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала ещё красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шёлком, в ушах сверкали бриллианты, – она напоминала мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Её приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнём, захлёбываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стёклах шкапов скользили их отражения, казалось, что всё кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

– С-сука...

– Одно слово – актриса, – с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о её кутежах.

После обеда хозяин лёг спать в комнате за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

– Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжёлой скуке, и всё чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина, – кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят – великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

– Ты бы, человеке божий, украл мне калошки, а? – предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и снова:

– Украдь, а?

– Воровать нельзя! – сообщил я ему.

– А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

– Вот и ладно, – не радуясь, спокойно сказал он. – Не омманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не омманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

– А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты – за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он всё говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

– Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди испытай мне мальчика – насколько он вор? Как тогда будет?

– Не дам я тебе калоши, – сказал я сердито.

– Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлёк к себе и, стучая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

– Как же это ты ни с того, ни с сего, – на, возьми?!

– Ты сам просил.

– Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты – ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

– Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда пасха придёт, я те на колокольню пушу, звонить будешь, город поглядишь...

– Я знаю город.

– С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушёл за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

– Какого чорта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, – я помнил угрозу хозяина.

– Ты воруеть? – спросил я Сашу.

– Не я, а старший приказчик, – объяснил он мне строго, – я только помогаю ему. Он говорит – послужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он всё понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неумоимо показывал мне своё старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперёд отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он – плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навывпуск он казался мне важным, солидным, но было в нём что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, – нельзя было понять, добрая она или злая.

– Лучше всего на свете люблю я бои, – говорила она, широко открыв чёрные, горячие глаза. – Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики – мне это всё едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца её, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

– Что вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

- Я тебе, дуре, не ребятишка, а второй приказчик!
- Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребёнок!
- Дура, дурья голова...
- Бес умён, да его бог не любит.

Её поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил её, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

- Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в её подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснётся, зажжёт лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

- Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело её пахнет воском и ладаном и что она скоро умрёт. Может быть, даже сейчас вот ткнётся лицом в пол и умрёт. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

- Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у неё не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали рёбра, точно обручи на разохшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

- Хоть умереть бы, что ли, такая всё тоска...

Или спросит кого-то:

- Вот и дожила – ну?

– Спи! – говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

- Ведьма! – звал её Саша за глаза.

Я предложил ему:

- А ты в глаза скажи ей это!

- Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

- Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чём не мирволила, – дёрнет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

- Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

- Что ты орёшь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспалёнными бессонницей глазами:

- У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ошипала.

– Проклятая, – ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: – Надо сделать, чтоб её прогнали. Надо, незаметно, соли во всё подбавлять, – если у неё всё будет пересолено, прогонят её. А то керосину! Ты чего зеваешь?

- А ты?

Он сердито фыркнул:

- Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг села на пол, точно кто-то толкнул её в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперёд, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на неё, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что делать, прижался у окна, на свету. Пришёл хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

– Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолившись, скомандовал в сени:

– Каширин, беги, объяви полиции!

Пришёл полицейский, потоптался, получил на чай, ушёл; потом снова явился, а с ним – ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли её на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

– Вымой пол!

А хозяин сказал:

– Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

– Не гаси лампу!

– Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

– Давай ляжем на печи, рядом?

– Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

– Как она – сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

– И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

– Покойники помнят только город, – тихонько говорил он, – а улицы и дома не помнят уж...

Становилось всё тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

– Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его всяким замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

– Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ноги на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув тёмные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв её, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свёртками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

– Это что?

– А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

– Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши,

такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из неё оправу от очков, надел её на нос и, строго глядя на меня, сказал:

– Это ничего не значит, что стёкол нет, это уж такие очки!

– Дай мне посмотреть!

– Тебе они не по глазам. Это для тёмных глаз, а у тебя какие-то светлые, – объяснил он и по-хозяйски крякнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, – он объяснил мне с гордостью:

– Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом – сапожные подковки, стёртые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребёнка, «Сонник и оракул» и ещё множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил её пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умилённо и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

– Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

– Хочешь, подарю что-нибудь?

– Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

– Возьми полотенце, перетрём всё, а то запылилось...

Когда вещи были перетёрты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошёл, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

– погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло ещё несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

– Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушинный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим углям, не оглядываясь, перешёл кухню и лёг рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, пообедали дома, и, когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

– Идём!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зелёной ватой лишая, чёрные голые сучья торчали мёртво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья – точно памятники на кладбище, кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и

черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны её лысины, она тоже подёрнута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошёл за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгрёб руками кучу листьев, – обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажгёт спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине её Саша зажгёт три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока её были сплошь выложены кусками разноцветных стёкол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нём лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри её тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, тёплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Всё это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

– Хорошо? – спросил Саша.

– Это зачем?

– Часовня, – объяснил он. – Похоже?

– Не знаю.

– А воробей – покойник! Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик...

– Ты его мёртвым нашёл?

– Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

– Зачем?

– Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

– Хорошо?

– Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл её доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

– Почему не нравится?

– Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув: – Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

– Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

– Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабляющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

– Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, всё более пугая меня. Я отошёл в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

– Что, взял? Вот буду так валяться, покуда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьём перебросил через забор на улицу, изрыл всё внутри пещеры и затоптал её ногами.

– Вот тебе, видел?

Саша отнёсся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага?..

Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом. А он ушёл, не оглянувшись, ещё более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Сашы с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

– Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!» – подумал я угнетённо.

Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в её зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

– Это – Саша?

– А то я! – смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, – в палец мне впилась булавка.

«Вот оно – колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил её на голову ещё не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но всё-таки я чувствовал себя плохо: мне всё мерещился гроб с воробьём, серые, скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг – неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга – и не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в жёлтой, зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой чёрной бородой и рычал, присвистывая:

– Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лёжа кверху носами, были похожи на мёртвых воробьёв. Качались жёлтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, всё было ненадёжно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван своей и визжал:

– Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

– Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, – я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на чёрной доске в моём изголовье, – мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

– Тебя как зовут? – спросила она.

– Никак.

– У тебя же есть имя?

– Нет.

– Не дури, а то высекут!

Я и до неё был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их жёлтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

– Давай в карты играть?

– Как же я без руки-то?

– Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот – руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:

– Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чём. Попробовать – не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошёл к двери, половинка её была открыта, – в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня тёмными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

– Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошёл, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, – на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая её серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

– Это – варёны руки? Ты чего же шлэндаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня тёплой рукой за шею и привлёк к себе.

– Боишься?

– Боюсь!

– Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особенно со мной – я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо – без них проживём, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, – мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвёл меня к моей койке, я попросил:

– Посиди со мной!

– Можно, – согласился он.

– Ты – кто?

– Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а как же иначе? Солдат для войны живёт. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком – сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в тёмном платье, а он стоял около неё и говорил:

– Поди-ка померли все, а?

В палате играло солнце, – позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребёнок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

– Что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

– Сейчас я всё сделаю по закону, – сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слёзы с лица, говорила:

– Наш солдат, балахонский, оказался...

Я всё ещё думал, что сон вижу, и молчал. Пришёл доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

– А дед у нас – вовсе с ума сходит, так жаден стал – глядеть тошно! Да ещё у него недавно сторублёвую из псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было – и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идём по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лёд, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась ширококожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках – весна идёт, скоро пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

– Люблю я тебя очень, бабушка!

Это её не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

– Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

– Вот – обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

## II

Дед встретил меня на дворе, – тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

– Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

– Знаем, знаем, – торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

– Теперь – начисто разорился дедушка-то; какие деньги были, всё отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, – уж не знаю, как это у них случилось, только – разорился, пропали деньги. А всё за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

– Уж я все стараюсь господу задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, – стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдём сегодня – у меня деньги есть...

Пришёл дед, сощурился и спросил:

– Жрать нацелились?

– Не твое, – сказала бабушка. – А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

– Налей...

Всё в комнате было на своём месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупной подписью печатными буквами:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твоё со мною по вся дни и часы живота моего».

– Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

– Этой бумаге сто рублей цена!

– Не твоё дело! – крикнул дед. – Всё чужим людям раздам!

– Раздавать-то нечего, а когда было – не раздавал, – спокойно сказала бабушка.

– Молчать! – взвизгнул дед.

Здесь всё в порядке, всё по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал ещё более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер – его на страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби – ушёл жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне всё это, черноглазый Кострома сердито сказал:

– Уж очень скоро мрут мальчишки!

– Да ведь помер только Вяхирь?

– Всё равно: кто ушёл с улицы, тоже будто помер. Только подружишься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрёт. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут – Евсеенки; парнишка – Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него; одна ещё маленькая, а другая хромая, с костылём ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

– Мы, брат, с Чуркой влюбились в неё, всё ссоримся!

– С ней?

– Зачем? Промежду себя. С ней – редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в чёрные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

– Что это с руками у тебя?

– Сварил.

– А вот я – хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздохнув, она прибавила:

– Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причёсанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у неё – большие, серьёзные,

в их спокойной глубине горел голубой огонёк, освещая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но – не понравилась мне. Вся её болезненная фигурка как будто говорила:

«Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в неё?

– Я – давно хвораю, – рассказывала она охотно и словно хвастаясь. Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

– Да...

С нею было неловко, я ушёл в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

– Пойдём, что ли? Потрудишься людям – руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была чёрная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к тёмным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звёзд, и шептала:

– Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углублённое тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звёзды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят её глаза; я трусливо прижался к бабушке.

– Ничего, – сказала она, – это просто собака, бесу – не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила её и советует:

– Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потёрлась о мои ноги, и дальше пошли втроём. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостыню»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

– Устала старуха, – говорила бабушка, – домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко – годится! Охо-хо, Олёша, бедно живёт народ, и никому нет о нём заботы!

Богатому о господе не думается,  
О Страшном суде не мерещится,  
Бедный-то ему ни друг, ни брат,  
Ему бы всё только золото собирать  
А быть тому злату в аду угольями!

Вот оно как! Жить надо – друг о дружке, а бог – обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чём не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

– Она будет с нами жить?

– А что ж? Пускай живёт, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

– Тут одна еврейка живет, так у ней – девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я её: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим – с кем иначе жить?» Я прислонился к тёплому боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, – с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пёночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец её, слесарь, переехал в Нижний.

– А ещё дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, всё население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдёж, ссорясь и судача; ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в «шар-мазло», – матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, – всё-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

– Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто – до слёз и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылём, боязливо вскрикивая:

– Перестаньте!

Лицо у неё было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, – это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из чёрных, угрюмых глаз выкатываются тяжёлые, крупные слёзы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлёбываясь слезами:

– Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплёвывать сквозь зубы и обещал:

– Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Всё это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.

– Здравствуй, – сказала она, трижды кивнув головой. – Кострома с тобой ходил?

– Да.

– А Чурка?

– Чурка с нами не дружится. Это всё ты виновата, влюбились они в тебя и – дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

– Вот ещё! Чем же я виновата?

– А зачем влюбляешь?

– Я их не просила влюбляться! – сказала она сердито и пошла прочь, говоря: – Глупости всё это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

– Много ты знаешь! – желая обидеть её, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза её красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я ещё маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и всё... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль её – в словах её звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют её товарищи мои? А ещё говорят влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

– Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

– Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.

– Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

– Как испортил...

– А у тебя пальцы истыканы...

– Это – иголкой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу на скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрёпанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьёзные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их овлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевёртываю всячески, это уж окончательно мешает мне понять, о чём рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову её – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегаёт и ворчит, как осенний ветер в трубе.

– Ты слушаешь? – спрашивает девочка. Я молча киваю головой. Сумятица слов всё более возбуждает меня, всё беспокойнее моё желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живёт и горит звездой в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

– Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чём идёт речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льёт дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в тёмный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чём-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.

– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестрёнка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

– Мы с тобой живём, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живём – мужья женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.

Бабушка говорила:

– Ой, хорошо мы живем! Свой грош – строй что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

– Мальчику с девочкой дружить – это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворённо, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чём принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенку прикрито, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом тёмных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обречённом движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнёт ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

– Выпялился козёл, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание её от улицы, упрямо расспрашивает о чём-нибудь.

– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; её узкие монгольские глаза светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.

– Ты не сердись, мамочка, всё равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слёзы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у неё выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зелёным платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стёкла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки её неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищённые.

– погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на неё.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем выются дети, тёплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен – запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рёв мужиков, звонкие крики детей, пение басовитой гармоники – всё сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо творящая земля. Всё – грубо, обнажённо и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой чёрной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряжённо ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

– Одного всем сразу нельзя бить – надо по очереди...

– Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

– Али бог бабу на смех родил?..

Ночь близко; свежее воздух, тише гул, деревянные дома пухнут, растут, одеваются тенями. Детей растащили по дворам – спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой, жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится её, считая колдуньей; про неё говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею – дружба; встречаясь на улице, обе они ещё издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, – обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

– Перестаньте! – боязливо просит Людмила.

Скосив на неё чёрные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб чёрный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, – изображены крест, копьё, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встаёт из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.

– Не говори о страшном! – просит Людмила.

– Пусти! – кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата её, и насмешливо говорит Костроме: – Что врёшь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху – пустой, для памятника... А что ходит покойник – это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

– Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

– Мамочка, покойники по ночам встают?

– Встают, – повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошёл сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

– Кто из трёх до света пролежит на гробу – двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит – уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

– Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

– Давай рубль – пойду! – угрюмо предложил Чурка. Кострома тотчас же ехидно спросил:

– А за двугривенный – трусишь? – И сказал Вальку: – Дай ему рубль, всё равно не пойдёт, форсит только...

– Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошёл прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

– Ах, господи, хвастунишка какой... что же это!

– Куда вам, трусы! – издевался Валёк. – А ещё первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издёвки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребяташек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах; учил дразнить их; ребяташки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в неё камнями; однажды он дал ей в хлебе иглу.

Но ещё обиднее было видеть, как уходит Чурка, съёжившись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

– Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

– Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это ещё более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя денег, но подошла бабушка и, узнав, в чём дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

– Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Её слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнёт вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

– Гляди же, – предупредил Валёк, – я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошёл на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

– Ежели что померещится – не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шёл быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и ещё какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то ёкнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошёл до чёрного гроба. С одной стороны он был занесён песком, с другой – его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие берёзки, связывая ветвями разъединённые могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки – эта серая щетина самое жуткое!

Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец – Дрянной Мужик – лениво бьёт в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дёргает верёвку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздаётся сухой удар маленького колокола, – он звучит кратко, скучно.

«Не дай господь бессонницу», – вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то – душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнёт вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около Церкви, похоронена мать...

Ещё не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катывовке верещит, захлёбываясь, гармоника, за оградой идёт всегда пьяный кузнец Мячов и поёт – я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки  
И грехи-то маленькие,  
Она не любя никого,  
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недостижимые звёзды, а всё на земле исчезло, ненужно и мёртво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, – это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания – хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

– Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

– Бесчувственный мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко её, неловко за неё: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще – очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, – ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать ещё больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к чорту!»

Но это было опасно, – кто знает, как отнесётся к этому чорт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напоминало мне, как однажды я, лёжа на плотках на Оке, смотрел в воду, вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человечью щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошёл в глубину, колеблясь, как падающий лист клёна.

Память работала всё напряжённее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится ёж, стуча по песку твёрдыми лапками: он напоминает домового – такой же маленький, встрёпанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

– Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко за городом – не видным мне – становилось светлее, утренний холодок сжимал щёки, слипались глаза.

Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом, – будь что будет!

Разбудила меня бабушка – стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

– Вставай! Не озяб ли? Ну, что – страшно?

– Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

– А почто молчать? – удивилась она. – Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

– Всё надо самому испытать, голуба душа, всё надо самому знать... Сам не поучишься – никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

– Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» – качая головами, восклицали:

– Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убеждённо заявила:

– Стало быть, ввали, что Калинин встаёт. Кабы вставал, – разве испугался бы мальчишки?

Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, всё ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

– Ему – легко, у него бабушка – ведьма!

### III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьём; рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

– О, чтоб тебя рбзорвало! – ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, – эти пылинки – точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с чёрными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щёлками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосёнки, – спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяйина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам хозяин – на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, – я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

– Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

– Слава богу, отошёл, – говорила бабушка, расчёсывая волосы свои. Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцуя, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребёнка; бабушка сердито сказала:

– Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

– Вот – родили... жил, ел... ни то ни сё...

– Проснись, – остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на неё и пошёл на двор, говоря:

– Мне хоронить не на что, как хошь сама...

– Тьфу ты, несчастный!

Я ушёл и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошёл в церковь и всю обедню сидел у разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язёвым отцом. Он вырыл могилу дёшево и всё хвастался этим передо мной.

– Это я только по знакомству, а то бы – рубль...

Заглядывая в жёлтую яму, откуда исходил тяжёлый запах, я видел в боку её чёрные, влажные доски. При малейшем движении моём бугорки песку вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

– Не балуй, – сказал Язёв отец, покуривая. Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с чёрными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

– А ты всё-таки потревожил Варину-то домовину...

– Как иначе! И то я чужой земли прихватил. Это – ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею – дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одёргивая потёртый сюртук.

– Сеяли семя в непахану землю, – сказал он вдруг, убегая вперёд, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

– Чего он?

– Бог с ним! У него свои мысли, – ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги её тонули в тёплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил её, понатужась:

– Чёрное-то в могиле – это материн гроб?

– Да, – сказала она сердито. – Пёс неумный... Года ещё нет, а сгнила Варя-то! Это всё от песку, – он воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

– Все гниют?

– Все. Только святых минует это...

– Ты – не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьёзно посоветовала:

– Не думай-ка про это, не надо. Слышишь?

Но я думал: «Как это обидно и противно – смерть. Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

– Попьём чайку, а то – жарко, – сказал он. – Я уж своего заварю. На всех.

Подошёл к бабушке и похлопал её по плечу.

– Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

– Что уж тут!

– То-то вот! Прогневался на нас господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о жёлтой яме и чёрных, влажных ключьях в боку её.

Но бабушка сурово остановила его:

– Перестань-ка, отец! Всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? Всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крикнул, взглянул на неё и замолчал.

Вечером, у ворот я с тоскою поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на неё заметного впечатления.

– Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама – в монастырь на всю жизнь. Куда мне ещё? Замуж я не гожусь, хромая – не работница. Да ещё детей тоже хромых нарожаешь...

Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я всё реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

– Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдем за дровами...

– А я – травок пособираю, – заявила бабушка.

Лес, еловый и берёзовый, стоял на болоте, верстах в трёх от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую – шёл до шоссеиной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной чёрным шатром высоко поднималась сосновая чаща – «Савёлова Грива».

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на своё, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и верёвками за поясом.

Вот и мы трое идём на рассвете по зелёно-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним-Новгородом, в холмах зелёных садов, в золотых главах церквей, встаёт не торопясь русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые лютики, отягчённые росой, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малопродуктивном дёрне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» – гвоздика...

Тёмною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели – как большие птицы; берёзы – точно девушки. Кислый запах болота течёт по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, принюхавшись, недоумённо качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадётся. Бабушка, в синей кофте, в чёрной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро – за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживлённее дед; потягивая воздух носом, покрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

– Леса – господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Лексей, не доведётся тебе

видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса – от Касимова до Мурома, али – за Волгой лес, до Урала идёт, да! Всё это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память.

– Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом – татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам – выбились из силушки, встали на мёртвую, закачались, – сошли на берег кашу варить. А – май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-то Жигули, зелёные по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу – тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш суровый был мужчина и в летах – встал на ноги, шапку снял, да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите – сами, а я в леса отойду!» Мы все встряхнулись – как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя – без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ – зверь безумный, ему – чего жалко? Испугались. А он – своё: «Не хочу боле этак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было – которые – собрались бить его да вязать, а – которые задумались о нём, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал – большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы – не то шестнадцать, не то – четырнадцать. Вот те и лес!

– Они – в разбойники ушли?

– Может – в разбойники, а может – в отшельники, – в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

– Пресвятая мать божия! Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех.

– Всем дан один разум, – знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всём, что, обижая, давит сердце тяжёлой скукой. На сухом месте бабушка говорит:

– Надо закусить, сядемте-ка!

В лукошке у неё ржаной хлеб, зелёный лук, огурцы, соль и творог в тряпицах; дед смотрит на всё это конфузливо и мигает.

– А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

– Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвои; тёмной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, а я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой, – она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, всё склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

– Рано опята пошли – мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб – лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать её беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

– Сбежал от деда-то?

И, кланяясь чёрной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил всё живое.

– А премилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она её спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым – и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против моей воли? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлён и пресерьёзно говорю:

– Разве так было? Божья-то мать родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена.

– Это кто тебе сказал?

– В училище, в книжках написано...

Это её успокаивает, она советует мне:

– А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеётся тихонько, весело.

– Придумали, дурачки! Бог – был, а матери у него не было, эка! От кого же он родился?

– Не знаю.

– Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

– Поп говорил, что божья мать родилась от Иоакима и Анны.

– Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится, – стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

– Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлёпаю!

Но через минуту объясняет мне:

– Богородица всегда была, раньше всего! От неё родился бог, а потом...

– А Христос – как же?

Бабушка молчит, смущённо закрыв глаза.

– А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал её в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт странная птица – щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами между корней; подняв золотую головку, лежит уж и стерёжет их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зелёной густоте; сквозь неё просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

– Пресвятая богородица, ясный свет земной, – вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу – точно хозяйка и родная всему вокруг, – она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От неё – точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её ногой, расправляется и встаёт – мне особенно приятно это видеть.

Идёшь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным, – пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до её богородицы и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть

даст такой ум, чтоб я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, – уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький, – Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

– Слава те господи! Ну, ладно что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, – до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

– Пойдём в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

– Дармоеды! – скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память – более чуткой, вместителище впечатлений – глубже.

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за деревья – нет ли ещё гриба?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.